

Ф.Л. Ясников. Автопортрет.

Ясников Фёдор Леонидович, в прошлом году отметивший семидесятилетний юбилей, — бывший актер Иркутского городского театра народной драмы, актер кино, а также публицист и литератор, а изначально — художник-портретист, книжный иллюстратор. Принимал участие в художественной выставке «Портреты Иркутских писателей». Оформлял сборники русских и зарубежных сказок, книги иркутских писателей В.Распутина, А.Байбородина, А.Горбунова, А.Семёнова, Т.Суровцевой, С.Волковой и других. Ныне Ясников Фёдор Леонидович — и фотохудожник, произведения которого представлены в этом номере журнала «Сибирь». Наша беседа была долгой, познавательной, поучительной, назидательной.

Бывая в Кутулике, я всегда искренне рада повидаться с этим философствующим и, одновременно, лёгким, ясноглазым человеком. В жизни он скромный, сдержанный, деликатный. Но через время и расстояние он видится мне необычным, будто вымышленным мною же, в моём деревенском детстве. Яко сказочник, который является из резного ларца или из-за печки, когда взрослых нет дома... Или дедушка-сосед, у которого в кармане всегда для меня припасена конфетка или затейливая штуковина. Словно я — маленькая, а он умудрённый, белёсый, по-хорошему лубочный — обо всём ведаёт, всё на свете знает. Лампадка горит в избе, в углу на чистых расшитых полотенчиках заботливой рукою расставлены образа. И так, вечера напролёт размышляем мы о жизни нашей земной, о правде и неправде. А иногда он рассказывает свои байки — задорные, хитро-мудро заверченные ради потехи и чистой радости. Но потехе — час, а теперь пошёл серьёзный разговор:

— *Фёдор Леонидович, всемирная паутина выдаёт нам разнообразные факты о вашей деятельности: художник, декоратор, актёр и даже писатель. Скажите, кто зародил в вас столько талантов? В роду вашем были художники, писатели, может быть, музыканты?*

— Матушка моя, урождённая Ольга Николаевна Черемисинова, была на редкость одарённым человеком, мне не досталось и десятой доли ее «даров». Во-первых, она обладала абсолютным слухом и великолепным контральто, подобного

которому мне не доводилось слышать, к тому же была удивительно артистична. Училась в Иркутском училище искусств, когда оно ещё было педагогическим техникумом, у основателя училища Ивана Лавровича Копылова. Сочиняла стихи, в совершенстве знала английский язык, занималась поэтическими переводами. В любом из этих занятий она могла достичь больших высот, но время, тяжёлое время... Бабушка моя, мамаина мама, была женой врага народа. До революции они жили в Петергофе. Когда началась смута, её муж (дед мой) ушёл с Врангелем... А бабушке моей с двумя детьми (обе дочери, мама была старшей) пришлось бежать. Хотели в Китай, как многие тогда, но не получилось, застряли в Иркутске. Статус жены врага народа не позволял бабушке устроиться на работу, поэтому работать пришлось маме, а её сестричка Анечка была ещё слишком мала.

С моим отцом Леонидом Владимировичем Ясниковым матушка познакомилась в техникуме. Отец имел недюжинный живописный дар, хорошую крепкую школу (учился у Александра Ивановича Вологодина), но всю жизнь проработал скульптором, исполняя малопривлекательные заказы — надо было кормить семью.

Мои старшие брат и сестра тоже не были обделены талантами. Сестра Наталья, которая на десять лет старше меня и на год старше Николая, окончила наше Иркутское училище искусств, потом Мухинку (ЛВХПУ) и стала интерьерщиком. Старший брат Николай, как и мама, имел абсолютный слух и пел баритоном. Особенно он любил петь, когда мы с ним оставались дома одни. И рисовал прекрасно, но предпочёл медицину, стал стоматологом.

Каждое сказанное собеседником слово воссоздаёт вполне осязаемые образы. Интеллигентная семья: мама — по-дворянски утончённая, трепетная, почти воздушная, но с несгибаемым стержнем. И сильный, безусловно, талантливый, надёжный и сильный отец...

— Я уже говорил, что матушка моя из Петергофа-Петербурга... Жизнь моей бабушки и двух ее дочерей после революционных событий круто изменилась и напоминает романы Стівенсона или Купера... Родичей гнал страх — в поезде могут остановить, арестовать, а посему кочевали на перекладных. Бабушка моя, Жозефина Брониславна Борейша — из польских повстанцев, мой дед Николай Петрович Черемисинов, который ушел с Врангелем, был до революции инженером-путейцем и участвовал в строительстве Кругобайкальской железной дороги. Жену свою он нашёл здесь, в Сибири. В Иркутске у бабушки был брат Роман Брониславович — управляющий лесопильного завода, который находился на Шишиловском острове.

Переправившись на санях по льду через Байкал, примчались в Иркутск на Шишиловский остров, к брату. Выбраться в Китай не сумели, но, правда, началась вполне сносная жизнь... А вскоре брата арестовали, и сносная жизнь закончилась.

Отец мой Леонид Владимирович Ясников из рода волжских купцов. Как их семья оказалась в Иркутске, мне не ведомо. Папа был молчалив и не любил утомительных бесед. Деда своего, папиного отца Владимира Тимофеевича Ясникова, я успел застать и припоминаю, как сидел у него на коленях. Держал он меня бережно, словно хрустальную вазу — боялся уронить. В семье жила легенда, что какой-то пра-пра из Ясниковых был иконописцем на Волге. Легенда эта греет мне душу...

— *В нынешние времена лучше других устроен тот, кто умеет продавать свой талант (или рядом есть так называемые продюсеры — продвиженцы). А как тонкому рефлексирующему художнику (в широком смысле этого слова) не*

утратить дар, не выгореть, не загубить себя от невостробованности, отчаяния и несправедливости?

— На это скажу одно, Господь дал тебе талант, будь добр, реализуй. Всевозможные несправедливости даются человеку, художнику для укрепления души, для возмужания. Сколько на свете скромных гениев, мы и не подозреваем! Сидят, бедолаги, в своих «каморках», красят чего-то на всяких клеёночках... Но посмотрите — стоят по Руси великолепные древние храмы, в храмах иконы и росписи по стенам, а кто знает о людях, сотворивших эти чудеса?! Феофана Грека, Дионисия, Андрея Рублева мы знаем только благодаря церковным летописям, работе ученых-исследователей. Сами же они нисколько не радели о своей славе. Всё это создано ради Бога. Мы все, во всяком случае, большинство, грезим об известности, но лучше всё же, когда о тебе никто не ведаёт, а Господь знает... Вот вспомнилось: в улан-удэнском музее под открытым небом стоят удивительные ворота — затейливая накладная резьба, гармоничная раскраска, глаз отвести невозможно. Спрашиваю, кто делал? Никто не знает имени мастера. Оказывается, безымянный мужичок за кормежку и крышу над головой сотворял это чудо. Сотворит и дальше идет по деревням... Хотя издревле писатели, художники, композиторы подписывали свои произведения, чем подтверждали полную ответственность за сотворенное.

— *Мне, представителю другого поколения, предельно любопытна жизнь вашего поколения. И, вроде бы, это не «глубокая старина», но, с другой стороны, всё загадочное, будто открыл шкатулку с непостижимым механизмом... Художник, писатель создается уже в детстве, ибо «все мы родом из детства». Искусство вошло в Вашу жизнь уже в детстве, развилось в юности?*

— Безусловно, мы все родом из детства. Если хорошенько его изучить, можно предсказывать будущее человека, я думаю. Мы с моим детским другом бредили искусством. Не понимали, что может быть важнее искусства. Как же тяжело было разочаровываться... А важнее искусства — любовь к Вышнему и ближнему, без сей любви живет лишь искусство от князя тьмы и смерти...

Что примечательного случилось в детстве? Говорят, в человеческой жизни нет места случаю. Примечательно же всё: мамыны сказки вечером при керосиновой лампе, оранжевый снег за окном, маленький игрушечный самолётик — зелёный, с красной звездой, с кабиной для лётчика (для меня, разумеется) и с пропеллерами, которые можно было крутить.

Примечателен был и мой друг Борис Шуньков... Дружили наши матушки, эта дружба перешла к нам. Вот с Борисом-то мы и бредили искусством....

Я жил на старинной иркутской улице, бывшей Семинарской, теперь Польских Повстанцев; здесь началось моё осознанное детство. Была улица эта весьма необычной: тут и речной порт, тут и железная дорога, тут же и подобие деревни, и все это в обычном городе. Многие дворы нашей улицы были деревенскими усадьбами с огородами, стайками, свинарниками, сеновалами, амбарами... Хозяева держали коров, свиней, коз, даже коней и всякую мелкую живность. А по причине того, что рядом река, естественно, многие имели лодки и, не особо скрываясь, во дворах сушили и чинили рыболовные сети.

То, что я назвал речным портом, не совсем верно: был это скорее всего угольный причал. Он находился почти напротив моего дома, там, где улица Декабрьских Событий (бывшая Ланинская) пересекала нашу и упиралась в ворота причала, сквозь которые, громыхая кузовами и цепями, самосвалы развозили по городу уголь. Над причалом постоянно крутили своими жирафьими шеями башенные

краны, с которых свисали чудовищных размеров ковши — такого ковша хватало, чтобы с одного раза загрузить самосвал. Под кранами высились горы чёрного угля.

Теперь относительно железной дороги. Это была узкоколейка, связывающая железнодорожную товарную станцию с Куйбышевским заводом. Бывало, часами, а то и сутками вдоль улицы стояли длинные составы из небольших вагончиков со всякой всячиной типа песка, кокса, мраморной крошки, каких-то железяк. По вагончикам прыгали козы, у состава подолгу мычали коровы, желая перебраться на другую сторону улицы.

Весь Божий день, а зачастую и ночь, наш околоток скрежетал, гудел, громыхал, ревел, визжал, блеял, утрами же пели петухи....

А Борис жил на улице Желябова (Большая Трапезниковская), на первом этаже углового деревянного двухэтажного дома. Дом, в котором он жил, огромный как корабль, окаймлён деревянным тротуаром. Большие, когда-то темно-зелёные, а теперь выцветшие ворота, по которым мы нещадно били мячом, играя в футбол. Большая калитка с тяжелым литым кольцом, которое надо поворачивать, чтобы открыть калитку. Рядом скамейка и Борькино окно. Во дворе дома, прямо в центре, находился старый глубокий колодец, прикрытый уже замшелой от времени, сырой и тяжелой крышкой, сделанной из лиственничных плах. Воду из колодца давно никто не брал, говорили, что в нём кто-то утонул. Иногда мы с Борисом поднимали крышку и подолгу молча смотрели в колодезную глубину, где тёмная вода смутно отсвечивала небо, насквозь пробирая нас завораживающей жутью. Его потом зарыли, этот колодец.

Во дворе, слева от ворот, — большой амбар из толстых лиственничных брёвен, с тяжелой низкой дверью. Прямо от ворот, через двор, — кладовки, где хранили уголь, дрова и разную рухлядь. За домом — малый сад, где росли две высокие, корявые, раскидистые старые яблони, утомленно свешивая длинные ветви на крышу. И стояла лестница, по которой мы с Борисом забирались и, бывало, просиживали там, на крыше, целыми днями, жуя яблочки, читая вслух или рассказывая друг другу всякие выдуманные и невыдуманные истории. Там зарождались наши самые невероятные планы.

В детстве, лет шести, семи, мы играли, как сказали бы теперь, в «дальнобойщиков». У нас с Борькой имелись самосвалы, не настоящие, конечно, игрушечные, но для нас они были более настоящие, чем настоящие. Все по-настоящему! Обхватив руками кабину самосвала, мы «выезжали» из «гаража» и грузились «коксом», «углем», «мраморной крошкой». Потом Борис выписывал «путевки», и мы отправлялись. «Трасса» наша пролегла по Желябова до Каландарашвили (Грамматинская), оттуда поворачивала на Халтурина (Медведниковская), там, где-то под тополями, был пункт назначения. Борис отмечал «путёвки», и мы выгружали одно, загружали другое и продолжали путь до Декабрьских Событий и до Желябова — домой. Такое «кругосветное» путешествие. В пути «дальнобойщики» и «обедали», и «ночевали», и «перекуривали», и попадали в «аварии».

Возвращались мы, как правило, уже затемно. Выгружались, Борис отмечал «путевки», самосвалы заезжали в «гараж», и усталые «дальнобойщики» шли домой.

Потом был цирк. Тоже самый, что ни есть, настоящий — с афишами, которые очень красиво писал Борис, с фокусами, которые придумывали сами, и клоунадой. Уличная детвора рассаживалась в кухне на стульях. Три раза звенел звонок (ко-

локольчик), раскрывались двустворчатые двери Борькиной спальни и начиналось представление... Выступления наши принимались «публикой» благосклонно, но иногда слышались и недовольные выкрики. Недовольные, как правило, выдворялись и «артистами», и самой «публикой».

Еще был кинозал, где мы «крутили» диафильмы, которых у Бориса было предостаточно. «Публика» рассаживалась по местам согласно «купленным» билетам. Гас свет и начинался сеанс. Текст под картинками мы с Борисом читали по очереди, иногда распределяли роли по голосам. В этих диафильмах вижу первопричину, отчего Борис Шуньков решил заняться кино.

Последним нашим вполне детским увлечением был Театр теней. Отец мой сделал нам ширму с экраном. Написали сценарий «Кот в сапогах», хотя от сказки «Кот в сапогах» там не было ничего. Сделали картонных кукол, большой сапог, в котором куклы должны были прятаться, от кого не помню. После первой же репетиции решили, что все это мышиная возня, что детство кончилось, что пора заняться кино.

Детских «примечательных» воспоминаний много: папина скульптурная мастерская, которая находилась тогда на улице Красного Восстания — сырой и холодный подвал. Это потом она переехала на Халтурина... Хорошо помню замерзающую на зиму Ангару, по которой мы с братом переходили на другой берег по прозрачному местами льду. Помню тот первый год, когда Ангара перестала замерзать, потому что построили Иркутскую ГЭС — для меня это было величайшее потрясение, потому что вдруг нарушилось нерушимое.

Детство зажигается в глазах вспоминающего. Это такой чудный период, когда забывается голод, драные штаны и подзатыльники. Зато помнятся «Театр теней», «оранжевый снег под окном» и легкокрылый «зелёный самолётчик»...

На просьбу припомнить первый актёрский опыт, Фёдор Леонидович отвечает, что никогда не мечтал быть актером, но поиграть на сцене хотелось. Когда стал служить художником в Иркутском городском театре народной драмы, где главный режиссер Михаил Корнев, часто приходилось бывать на репетициях, и вот там «хотение» переросло в «острое желание». Ясников поведал о том Михаилу Георгиевичу, который «соблаговолит» взять его на роль дьяка в спектакле «Ночь перед Рождеством» по Гоголю. Было много репетиций, и удачных, и таких, после которых хотелось проклясть тот день и час, когда вздумалось окатиться на сцене.

— И вот — премьера...

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Приближается мой выход, я в рясе, поверх надета теплая безрукавка, на голове скуфья, на ногах валенки, стою за кулисой... и вот пора — выход! А ноги не идут, я их не чувствую, их просто нет. В голове гул — таково могло быть чувство колокола. А выходить-то надо. И вот мои руки (честное слово, я не отдавал им никакой команды!) берут мою правую ногу и переставляют вперед, понуждая к ходьбе... и ноги пошли. Из моего занемевшего рта сыпались какие-то слова. Я полагал, что всё, провалился. Но потом, на разборе спектакля, режиссер никаких особых нареканий мне не сделал, чем я был до крайности удивлен. Вот таков мой первый

актерский опыт. В дальнейшем я еще не раз и не два, а гораздо больше проклинал свое неуёмное желание залезть на сцену, а теперь скучаю по сцене.

Фёдор Леонидович создал в Кутуликке любительский театр. Помню, говорили о постановках, о том, что такой досуг просто необходим селянам. Но: «мужиков-то не хватает, у меня в театре четыре женщины и один всего бородатый... догадайтесь кто!» Ясников был и режиссёром, и руководителем-завхозом, и тем самым «единственным бородатым» актёром. К моему большому сожалению, недавно он сообщил, что театра больше нет.

— *Ваше окружение — люди творческих профессий. С кем из писателей и художников ныне здравствующих вы близки по духу, по мировосприятию? Кого случилось написать, чьи портреты в вашем исполнении мы можем увидеть?*

— Так получилось, что Союз писателей стал почти постоянным местом моего обитания. Виновата в этом не только наша, более чем сорокалетняя, дружба с прозаиком Анатолием Байбородиныным, дело в том, что именно там я нашёл подтверждение и поддержку моему, складывавшемуся тогда, миропониманию.

Если вы знакомы с произведениями здешних писателей, то вы согласитесь с тем, что иркутское писательское сообщество было самым сильным среди других региональных сообществ. Говорят, с Иркутской литературой могла соперничать лишь Вологодская, когда там жили Рубцов и Астафьев... Возможно, тайна сего кроется в содружестве писателей, что сошлись в знаменитой «Иркутской Стенке». Пишу слово с большой буквы потому, что оно, по моему убеждению, означает огромное и благотворное явление, никогда не бывшее в литературе. Разве что в пушкинскую эпоху, когда писатели и поэты читали друг другу свои творения. «Мы рассчитывали на свои силы и на поддержку друг друга, это было творческое содружество, в котором во время обсуждения наших рукописей говорились полная правда», — так говорил о «Стенке» Валентин Распутин. К сожалению, явление это целиком принадлежит «шестидесятникам», оно не имело продолжения. «Стенка» разрушилась с уходом её атлантов. Как известно, вдохновителем создания «Стенки» был Александр Вампилов...

Будучи другом известных иркутских писателей, я написал несколько их портретов. Есть портрет прекрасного иркутского поэта Бориса Архипкина, Царство Небесное ему. Борис приходил ко мне позировать, усаживался на приготовленное место, я ставил ему стакан в подстаканнике, наливал чай. Борис насыпал в чай полстакана сахара, доставал из кармана конфетки двух видов — круглые, крупные, разноцветные, обваленные в сахаре и карамельки в обертках. Я писал, Борис пил чай с конфетками и читал стихи, много стихов — и свои, и любимых поэтов. Он обладал потрясающей памятью. Писал портрет другого прекрасного иркутского поэта — Василия Козлова, поэзию которого я особо люблю. Но к нему я отнёсся более строго — все сеансы ему приходилось стоять. И он мужественно перенёс сие мучение. Есть портрет Альберта Семеновича Гурулёва — представителя помянутой «Стенки», замечательного сибирского прозаика, в произведениях которого воистину живет любовь к ближнему, к родной сибирской земле. Рисовал и Анатолия Байбородина, но портрета так и не сделал, не знаю почему. Может, стало не интересно...

Мне посчастливилось иметь дружбу с фотографами, фоторепортёрами, фотохудожниками. Работы Ясникова отличаются удивительным пониманием природы-матушки и природы человеческой. Глубина и гармония в обыденном, привычном, но ярком, жизненном, оттого бесподобном. Будь то кутуликское чахлое

болотце, или стая журавлей — всё красочно, эмоционально. Дабы дать наиболее явную характеристику портрету, скажу, что каждый хочется рассмотреть детально, изучить выражение лица, каждую веснушку, налюбоваться вдоволь, более того, с каждым персонажем увидеться воочию.

Так чем же отличается фотоискусство от любительского фотографирования, а фотохудожник от, скажем, живописца?

— Фотография — буквально воплощенная мечта Фауста (остановись, мгновение). Существует ли грань между искусством и не искусством? Фотоискусство — это пронзительный взгляд. Более цепкий, пристрастный, чем у любителя. В фотографии важна школа. Знание правил композиции, пространственной композиции, законы светотени (занимаясь плёнкой, приходишь к техническому освоению фотодела). Но это еще не искусство, для искусства мало иметь школу. Самое главное, чем должен обладать фотограф — любовью к миру, любовью ко всему сущему. Каждая частица этого мира, каждая секунда его жизни для фотохудожника дорога и важна! В искусство фотографии, как и в любое другое искусство, с холодным, равнодушным сердцем лучше вовсе не лезть.

Почему меня привлекла фотография? Ну, поперёд всего из-за лени — не нужно делать подрамники, натягивать и грунтовать холсты (шучу, конечно). А тут ещё подоспела цифровая технология, раздолье для ленивого.

Вы спрашиваете, возможно ли создать шедевр мирового уровня? Может быть, где-то пылится и желтеет какой-нибудь фотошедевр, но за невероятным обилием фотографий мы не в состоянии его разглядеть. А каковы критерии? Тут ведь всё дело в критериях. Судя по мировым выставкам, фотография шагнула в запретные края, она может такое, что иной раз кажется — не человек это делал... не человек. Словно делала это, в лучшем случае, бездушная машина, настолько выверено, выхолощено и холодно. Чудо тоже может быть злым.

Самое трудное в фотографии, на мой взгляд, выявить и сохранить акцент. Художнику «проще» подчинить на холсте окружающую среду главному на картине — центральному объекту. Фотографу приходится работать с тем, что случайно попало в кадр. До появления фотошопа со случайностями воевать было труднее.

Фотошоп — ни хорошо, ни плохо. Это инструмент, набор инструментов. Злоупотреблять им не стоит. Но возможно воспользоваться, дабы исправить досадные случайности.

Живопись и фотография — это совершенно разные технологии. Художник, взявший в руки фотоаппарат, или фотограф, взявший в руки кисть — по существу они оба изменили своему делу. Их «видение» от этого вряд ли пострадает, но они оба занялись ДРУГИМ делом. Невозможно и нельзя сравнивать живопись и фотографию. Пропасть между ними во много раз огромнее даже, чем между монументальным полотном и карандашным наброском.

— Фёдор Леонидович, а теперь приспело время поговорить о идеях и смыслах творчества... Вы видели две эпохи — одна безбожная, но, в некоторой степени, чистая, романтическая; другая — с Богом, но так ли она хороша во всём остальном?

— Во-первых, почему вы решили, что сейчас с Богом? Декларация — это еще не вера. Я, например, совершенно не вижу, что народ сегодня с Богом. В безбожные времена Бога в душах было больше. Атеисты-коммунисты думали, что они Бога отменили. Какая самоуверенность! Бог в душе русского человека более тысячи лет! Разве можно его отменить разом? Кроме того, коммунисты «смягчи-

ли» свой атеизм тем, что взяли на вооружение Божии заповеди — кодекс строителя коммунизма их атеистическая редакция. Однако, удар по вере, по Церкви был нанесен страшный. Постепенно вера стала уходить из народа, заменяясь на идолопоклонство — кто-то стал верить в то, что Бога нет (это тоже религия, ибо не доказано), кто-то выбрал себе Золотого тельца, кто-то Пана (природу), кто-то на место Бога посадил Человека. Но по существу большинство еще оставались православными, то есть — совестливыми. В переводе с греческого Евангелие — Благая Весть, таким образом, совесть означает — несущий весть, благую весть о Боге. Иначе говоря, советские люди, многие уже не сознавая того, все еще несли весть о Боге!

Сегодня, когда русский человек получил «свободу», когда все можно, уходит совесть. На моих глазах, когда грянула перестройка, многие кинулись в религию — кто от безысходности, кто для имиджа, кто для моды. Человеку, прожившему три четверти жизни в безбожии, по-настоящему прийти к вере трудно. Но всё же, должен сказать, что процесс обретения веры, воцерковления в народе идёт. И, кажется, совесть помалу возвращается. Поживём — увидим...

— *Не за горами юбилей Иркутска. Хочу спросить, что для вас значит Иркутск. Старый город... и город новый.*

— Для меня новый город уже потому нехорош, что он уничтожил все моё детство и юность. Он уничтожил всё, что я любил, чем дорожил. И всё же Иркутск — моя родина. Я помню время, когда на улице встретить легковую машину было редчайшим везением. Потом жители долго рассказывали друг другу об увиденном, как о величайшем чуде. Воду в бочках развозили лошадки по дворам. Заезжает во двор такая лошадка, возница, частенько «под мухой», ведет её под уздцы и кричит: «Во-о-ода-а-а!!!!!». Две копейки ведро. Дворы, стайки, заборы, чердаки — наше мальчишечье царство. Как же мы по-доброму жили. Сейчас и детей-то на улице редко увидишь, а увидишь, так какие-то хмурые, не улыбочивые, наверно родители от компьютера отлучили.

Видимо, новый город для новых людей, но будут ли они, эти новые люди, испытывать добрые чувства к новому городу? Наверно, это другая жизнь, и мне не понять. Но мне жаль моих внуков и правнуков, которые не будут гонять мяч и бить им по большим деревянным зеленым воротам, не будут лазить по заборам и чердакам, играя в «войнушку», не будут гонять свои игрушечные самосвалы вдоль деревянных тротуаров, не будут лузгать семечки, сидя на лавочке и рассказывая друг другу всякие небылицы...

— *Мечтали, что будет город-сад. А будет ли?*

— Я ни о каком городе-саде не мечтал, мне был по сердцу мой старый Иркутск. Понимаю, конечно, что время не стоит на месте, но куда оно ведёт, вот в чём вопрос. Мне сдаётся, что архитектурная руинообразная гигантомания плохо кончится, она вскоре раздавит человека, лишит его воли, превратит в муравья... Дай Бог, чтобы я был неправ. Гармония, соразмерность с человеком осталась только в деревне. Говорят, деревня спивается. По селу Кутулик, где я теперь живу, этого не видно... Но если пьянство деревенское и было, и есть, то это от того, что власть бросила деревню, обрела ее на вымирание.

А Иркутск — вся моя жизнь. Там жили мои родители. Там всё, что мне дорого, всё, что меня убивало и возрождало. Там все мои любимые ныне здравствующие и те, кого уж нет. Я, конечно же, иркутянин, и мне никогда уже не стать никем иным, даже если бы мне пришлось жить еще семьдесят лет где-нибудь в земных

«райских куцах». Иркутянин — это призвание, если хотите. Я не знаю иркутян, уехавших отсюда навсегда, уехавших и сжегших все мосты, зато я знаю иркутян, всю жизнь уезжавших из Иркутска и всю жизнь возвращавшихся в Иркутск, знаю мечтавших уехать, но так и не собравшихся. Я также знаю людей, приехавших в Иркутск и ставших иркутянами еще более «коренными», чем коренные иркутяне.

Я люблю Петербург, но я не смог бы там жить, в граде Петра нет иркутского уюта и тепла. Впрочем, в последние времена и наш Иркутск стремительно теряет и уют, и тепло, превращаясь, стараниями наших архитекторов, в Вавилон. Впрочем, как и все губернские столицы, что обращаются из художественно красивых, уютных и теплых в стылые, мертвотушные мегаполисы, «не помнящие родства».

— У человека с большим жизненным опытом всегда хочется попросить рецепт «правильной жизни»...

— «Рецепт» правильной жизни — десять заповедей Христа, и главная из них «новая»: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34–35)

Апостол Павел писал: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает...» (1 Кор. 13:4–8)

Что касается счастья, грех человеку пенять — он гораздо больше счастлив, чем несчастлив. Правда, иные и не понимают, что счастливы.

— Кто привёл вас к вере? Что лично для вас Бог?

— Кто привел к вере?.. Честно признаться, я до сих пор не могу утверждать, что я верующий. У Тютчева есть стихотворение «Наш век»:

*Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит.
Не скажет век, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутою дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»*

Это во многом про меня... Твердо знаю одно, без Бога не до порога. Без Бога жизнь превращается в страшную, жестокую бессмыслицу (бес-смыслица, смысл беса). Без Бога можно оправдать любое, самое мерзкое деяние. Посмотрите — нынче в почете плотские извращения, которые ведут к вырождению человечества. Это теперь называется толерантность. За нетерпимость к извращенчеству в Европе уже сажают в тюрьму! До сих пор только вера в Бога и спасала род людской. Недаром Его зовут Спаситель.

Фёдор Леонидович — самобытный, редкостный, основательный. Можно сказать — «домовитый». В чём-то причудливый и оттого, в общем и целом — дико-

винный. Носитель русской культуры, русского исконного мышления. Но с уважением и приятием внешних традиций, культуры, всего уникального и выдающегося. Мы говорим о Западе, о его ценностях:

— Вы имеете в виду европейскую культуру? Отвечу, если не возражаете, цитатой из Достоевского, из его пушкинской речи: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (...) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, всё это славянофильство и западничество наше — есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически оно необходимо. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть — всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей».

Конечно, есть чему и у Европы поучиться, но прежде надо познать своё. Например, дети прежде изучают своё окружение. Иначе Европы не понять правильно. По-настоящему любить Европу возможно только зная и любя своё, русское. Наши сегодняшние западники, всячески очерняя и понося Россию, по-настоящему и Европу не любят. Это про них сказал Александр Сергеевич Пушкин, что им все равно: «бегать ли под орлом французским, или русским языком позорить всё русское — были бы только сыты».

Современных художников я почти не знаю, авангарда не люблю, считая его злокачественной опухолью и нашей, и западной культуры. Из европейских мастеров выделяю Рембрандта, Шардена... Из наших — Поленова, Саврасова. Люблю работы Рокотова, Перова — особенно портреты Достоевского и Островского. Пейзажи Василия Федорова трогают меня больше, чем пейзажи знаменитого Коро. И не только от того, что это наш русский пейзаж. У Фёдорова пейзаж «вочеловеченный»... Русское искусство, где русское эпитет, — проповедь восхитительной и сострадательной любви к ближнему, к родному народу.

*Беседу записала и подготовила к печати Алена Шитицына
Декабрь 2019 года*



Ф. Ясников. Вечер на протоке



Ф. Ясников. Жаркое лето



Ф. Ясников. Крещение Арины



Ф. Ясников. Портрет Тамары



Ф. Ясников. Зима, мороз



Ф. Ясников. Кутуликские коровы



Ф. Ясников. Кутулик. Бараба



Ф. Ясников. На Олхе ледоход



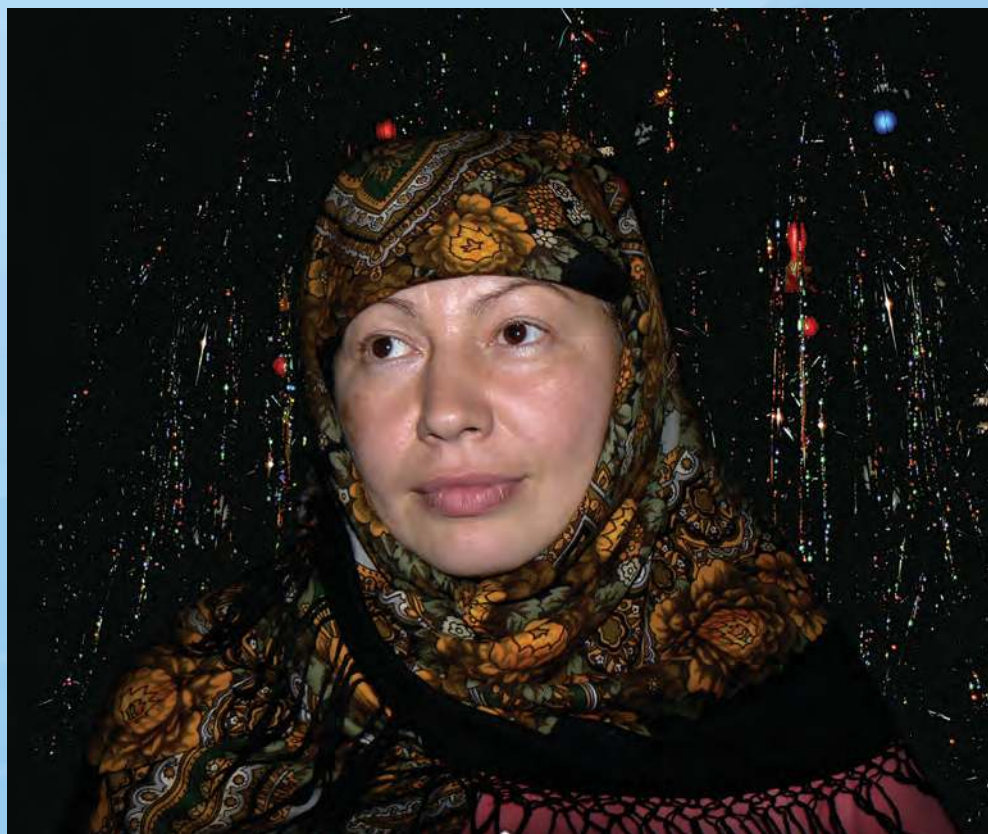
Ф. Ясников. Старый Иркутск



Ф. Ясников. У окна



Ф. Ясников. Иркутск уходящий



Ф. Ясников. Портрет Марины



Ф. Ясников. Иркутская Крестовоздвиженская церковь



Ф. Ясников. Святое причастие